

ГЛАВА 1

Я оставил машину у собора и спустился по ступеням на площадь Якобинцев. Дождь по-прежнему лил как из ведра. Он не прекращался с самого Тура, и единственное, что я мог увидеть в этих любимых мною местах, было блестящее полотно *route nationale*¹, пересекаемое мерными взмахами «дворника».

Когда я подъехал к Ле-Ману, хандра, овладевшая мной за последние сутки, еще более обострилась. Это было неизбежно, как всегда в последние дни отпуска, но сейчас я сильнее, чем раньше, ощущал бег времени, и не потому, что дни мои были слишком наполнены, а потому, что я не успел ничего достичь. Не спорю, заметки для моих будущих лекций в осенний семестр были достаточно профессиональными, с точными датами и фактами, которые впоследствии я облеку в слова, способные вызвать проблеск мысли в вялых умах невнимательных студентов. Но даже если мне удастся удержать их затухающий интерес на короткие полчаса, я все равно буду знать, закончив лекцию, что все сказанное мной ничего не стоит, что я показал им ярко раскрашенные картинки, восковых кукол, марионеток, участвующих в шарадах, и только. Истин-

¹ Шоссе первой категории (*фр.*).

ный смысл истории ускользал от меня, потому что я никогда не был близок к живым людям. Куда легче было погрузиться в прошлое, наполовину реальное, наполовину созданное воображением, и закрыть глаза на настоящее. В Туре, Блуа, Орлеане — городах, которые я знал лучше других, — я отдавался во власть фантазии: видел другие стены, другие, прежние, улицы, сверкающие фасады домов, на которых теперь крошилась кладка; они были для меня более живыми, чем любое современное здание, на которое падал мой взгляд, в их тени я чувствовал себя под защитой, а жесткий свет реальности обнажал мои сомнения и страхи.

Когда в Блуа я дотрагивался до темных от копоти стен загородного замка, тысячи людей могли страдать и томиться в какой-нибудь сотне шагов оттуда — я их не замечал. Ведь рядом со мной стоял Генрих III, надушенный, весь в брильянтах: бархатной перчаткой он слегка касался моего плеча, а на сгибе локтя у него, точно дитя, сидела болонка; я видел его вероломное, хитрое, женоподобное и все же обольстительное лицо явственней, чем глупую физиономию стоящего возле меня туриста, который рылся в кармане в поисках конфеты, в то время как я ждал, что вот-вот прозвучат шаги, раздастся крик и герцог де Гиз замертво упадет на землю. В Орлеане я скакал рядом с Девой или вместо Бастарда поддерживал стремя, когда она садилась на боевого коня, и слышал лязг оружия, крики и низкий перезвон колоколов. Я мог даже стоять подле нее на коленях в ожидании Божественных Голосов, но до меня доносились лишь их отголоски, сами Голоса слышать мне было не дано. Я выходил, спотыкаясь, из храма, глядя, как эта девушка в

облике юноши с чистыми глазами фанатика уходит в свой невидимый для нас мир, и тут же меня вышвыривало в настоящее, где Дева была всего лишь статуя, я — средней руки историк, а Франция — страна, ради спасения которой она умерла, — родина ныне живущих мужчин и женщин, которых я и не пытался понять.

Утром, при выезде из Тура, мое недовольство лекциями, которые мне предстояло читать в Лондоне, и сознание того, что не только во Франции, но и в Англии я всегда был сторонним наблюдателем, никогда не делил с людьми их горе и радости, нагнало на меня беспросветную хандру, ставшую еще тяжелее из-за дождя, секущего стекла машины; поэтому, подъезжая к Ле-Ману, я, хоть раньше не собирался делать там остановку и перекусывать, изменил свои планы, надеясь, что изменится к лучшему и мое настроение.

Был рыночный день, и на площади Якобинцев, у самых ступеней, ведущих к собору, стояли в ряд грузовики и повозки с зеленым брезентовым верхом, а все остальное пространство было заставлено прилавками и ларьками. В тот день был, видимо, особенно большой торг, так как повсюду толпились во множестве сельские жители, а в воздухе носился тот особый, ни с чем не сравнимый запах — смесь флоры и фауны, — который издает только земля, красно-коричневая, унавоженная, влажная, и дымящиеся, набитые до отказа загоны, где тревожно топчутся на месте друзья по неволе — коровы, телята и овцы. Трое мужчин острыми вилами подгоняли вола к грузовику, стоявшему рядом с моей машиной. Бедное животное мычало, мотало из стороны в сторону головой, туго обвязанной ве-

ревкой, и пятилось от грузовика, переполненного его хрипящими и фыркающими от страха собратями. Я видел, как вспыхнули красные искры в его оторопелых глазах, когда один из мужчин вонзил ему в бок вилы.

Перед открытой повозкой пререкались две женщины в черных шалях, одна из них держала за ногу вкохчущую курицу, та протестующе била крыльями по высокой плетеной корзине с яблоками, на которую облокотилась ее хозяйка. К ним нетвердой походкой направлялся огромный кряжистый мужчина в коричневой вельветовой куртке с багровым лицом и мутным взглядом от обильного угощения в соседнем бистро. Глядя на монеты у себя на ладони, он что-то бурчал — их было меньше, чем он думал, слишком мало; видно, он обсчитался за этот час, что провел в жаркой комнате, пропахшей потом и табаком, откуда он теперь возвращался для перекуров с женой и матерью. Я легко мог представить его ферму, которой он владел всю свою жизнь, как и отец до него, в двух километрах от шоссе по песчаной проселочной дороге в колдобинах и рытвинах; низкий дом светло-желтого цвета с черепичной крышей и службы — расплывчатое пятно на фоне плоских коричневых полей, где ряд за рядом лежат кучи круглых и плотных тыкв, оранжево-розовых или зеленых, как листья липы, оставленных здесь до зимы, когда они высохнут и пойдут в корм скоту или на суп самим обитателям фермы.

Я обогнул грузовик и пошел через площадь в brasserie¹ на углу; внезапно сквозь просветы на небе брызнуло бледное солнце, и все, кто был на площа-

¹ Кафе (фр.).

ди, — безликие черные кляксы, похожие на ворон, — стали цветными каплями ртути: они улыбались, жестикулировали, расхаживали не спеша по своим делам, а серая пелена над головой все расплзалась и расплзалась, пока день из хмурого не стал золотым.

В ресторане яблоку негде было упасть; приятно пахло едой — супом, острой и пикантной подливкой, сыром, пролитым вином, горькой кофейной гущей — и удушливо несло сыростью от подсыхающих пальто и курток; зал тонул в голубом облаке сигарет «Голуаз».

Я нашел место в дальнем углу возле двери в кухню, и, пока ел горячий, сытный, тонувший в соусе из зелени омлет, створки двери распахивались то вперед, то назад от нетерпеливого толчка официанта с тяжелым подносом в руках, где высились одна на другой тарелки. Сперва это зрелище подстегивало мой аппетит, но затем, когда я утолил голод, это стало вызывать тошноту — слишком много тарелок картофеля, слишком много свиных отбивных. Когда я попросил принести кофе, моя соседка по столу все еще отправляла в рот бобы; она плакалась сестре на дороговизну жизни, не обращая внимания на бледненькую девочку на коленях у мужа, которая просилась в туалет. Она болтала без умолку, и чем больше я слушал — единственный доступный мне отдых в те редкие минуты, когда я выбрасывал из головы историю, — тем сильнее грызла меня притихшая было хандра. Я был чужак. Я не входил в их число. Годы учебы, годы работы, легкость, с которой я говорил на их языке, преподавал их историю, разбирался в их культуре, ни на йоту не приблизили меня к живым людям. Я был слишком не уверен в себе, слишком сдержан и сам это

ощущал. Познания мои были книжными, а повседневный жизненный опыт — поверхностным, он давал мне те крупницы, те жалкие обрывки сведений, что подбирает в чужой стране турист. Я страстно стремился к людям, жаждал их узнать. Запах земли, поблескивание мокрых дорог, выцветшая краска на ставнях, заслоняющих окна, в которые я никогда не загляну, серые фасады домов, двери которых для меня закрыты, служили вечным укором, они напоминали мне о расстоянии между ними и мной, о моей национальности. Другие, возможно, ворвутся сюда силой, разрушат разделяющий нас барьер, другие, но не я. Я никогда не стану французом, не стану одним из них.

Семья, сидевшая за моим столиком, встала и ушла, шум стих, дым поредел, и хозяин с женой сели перекусить позади прилавка. Я расплатился и вышел. Я бродил бесцельно по улицам, и моя праздность, перебегающий с предмета на предмет взгляд, сама одежда моя — серые брюки из шерстяной фланели, изрядно выношенный за долгие годы твидовый пиджак — выдавали во мне англичанина, затесавшегося в базарный день в толпу местных жителей в захолустном городке. Все они — и крестьяне, торгующиеся среди связок подбитых гвоздями сапог, фартуков в черно-белую крапинку, плетеных домашних туфель, кастрюль и зонтов; идущие под ручку хохочущие девушки, только что из парикмахерской, кудрявые, как барашки; и старухи, которые то и дело останавливались, подсчитывая что-то в уме, качали головой, глядя на цену, скажем, камчатных скатертей, и брели дальше, ничего не купив; и юноши в бордовых костюмах, с иссиня-серыми подбородками, с неизбежной сигаретой в углу рта, которые пялили глаза на девушек, подталкивая друг

друга локтем, — все они, когда окончится этот день, вернуться в свои родные места — домой. Безмолвные поля вокруг, и мычание скота, и туман, поднимающийся с размокшей земли, и кухня с тучами мух, и кошка, лакающая молоко под колыбелью, — все это принадлежит им, привычное, как ворчливый голос бабушки и тяжелая поступь ее сына, идущего на грязный двор с ведром в руке.

А я —неважно когда — зарегистрируюсь в очередном незнакомом отеле, где меня примут за француза, пока я не предъявлю паспорт; тут последуют поклон, улыбка, любезные слова, и сожалеюще, слегка пожимая плечами, портье скажет: «У нас сейчас почти никто не живет. Сезон закончился. Весь отель в вашем распоряжении», подразумевая, что я, естественно, жажду окунуться в толпу моих энергичных соотечественников с «кодаками» в руках, меняться с ними снимками, брать займы книжки, одалживать им «Дейли мейл». И никогда эти служащие отеля, где я провел ночь, не узнают, как не знают этого те, кого я сейчас обгоняю на улице, что не нужны мне мои соотечественники, тягостно и собственное мое общество, что, напротив, хотел бы я — недоступное для меня счастье — чувствовать себя одним из них, вырасти и выучиться с ними вместе, быть связанным с ними узами родства и крови, узами, которые для них понятны и правомерны, чтобы, живя среди них, я мог делить с ними радость, постигать глубину их горя и преломлять с ними хлеб — не подачка чужаку, а общий, их и мой, хлеб.

Я продолжал идти вперед; снова стал моросить дождь, люди набились в магазины или пытались укрыться в автомобилях. В провинции не разгуливают под дождем, разве что идут по делу, как вон те мужчины в широкополых фетровых шляпах, кото-

рые с серьезным видом спешат в *préfecture*¹ с портфелем под мышкой, в то время как я нерешительно топчусь на углу площади Аристида Бриана, прежде чем зайти в церковь Пресвятой Девы неподалеку от префектуры. В соборе было пусто, я заметил лишь одну старуху с бусинами слез в широко раскрытых неподвижных глазах; немного погодя в боковой придел, стуча каблучками, вошла девушка и зажгла свечу перед белой до голубизны статуей. И тут, словно темная пучина поглотила мой рассудок, я почувствовал: если я не напьюсь сегодня, я умру. Насколько важно то, что я потерпел фиаско? Не моему окружению, моему миру, не тем немногим друзьям, которые думают, будто знают меня, не тем, кто дает мне работу, не студентам, которые слушают мои лекции, не служащим в Британском музее, которые любезно говорят мне «доброе утро» или «добрый день», и не тем благовоспитанным, благожелательным, но до чего же скучным лондонским теньям, среди которых живет и добывает свое пропитание законопослушный, тихий, педантичный и чопорный индивидуум тридцати восьми лет. Нет, не им, а моей внутренней сущности, моему «я», которое настойчиво требует освобождения. Как оно посмотрит на мою жалкую жизнь?

Кто оно, это существо, и откуда оно взялось, какие желания, какие стремления обуревают его — этого я сказать не мог. Я так привык его обуздывать, что не знал его повадок; возможно, у него холодное сердце, язвительный смех, вспыльчивый характер и дерзкий язык. Не оно живет в однокомнатной, заваленной книгами квартире, не оно просыпается каждое утро, зная, что у него ничего нет — ни

¹ Префектура (*фр.*).

семьи, ни родных и близких, ни друзей, ни интересов, которые поглощали бы его целиком, ничего, что могло бы служить жизненной целью или якорем спасения, ничего, кроме увлечения французской историей и французским языком, которое — по счастливой случайности — позволяет как-то зарабатывать на хлеб.

Возможно, если бы я не держал его взаперти в моей грудной клетке, оно бы хохотало, бесчинствовало, дралось и лгало. Возможно, оно бы страдало, возможно, ненавидело бы, возможно, ни к кому не проявляло бы милосердия. Оно могло бы красть, убивать... или отдавать все силы борьбе за благородное, хотя и безнадежное дело, могло бы любить человечество и исповедовать веру, утверждающую равно божественность Всевышнего и людей. Какова бы ни была его природа, оно ожидало своего часа, укрывшись под бесцветным обличем того бледного человека, что сидел сейчас в церкви Пресвятой Девы, ожидая, когда утихнет дождь, завершится день, подойдет к predetermined концу отпуск, наступит осень и его вновь еще на один год, еще на один промежуток времени возьмет в плен повседневная рутина его обычной, бедной событиями лондонской жизни. Вопрос был в том, как отпереть дверь. Каким способом освободить того, другого? Я не видел ответа... разве что выпить бутылку вина в кафе на углу перед тем, как сесть в машину и двинуться на север, — это затуманит сознание, притупит чувства и принесет временное облегчение. Здесь, в пустой церкви, была иная возможность — молитва. Молиться, но о чем? О том, чтобы собраться с духом и выполнить пока еще нетвердое намерение поехать в монастырь траппистов в надежде, что там научат, как смириться с фиаско... Старуха тя-

жело встала с места и, сунув четки в карман, направилась к выходу. Слез на ее глазах больше не было, но оттого ли, что она нашла здесь утешение, или они просто высохли, я сказать не мог. Я подумал о *carte michelin*¹, лежавшей в машине, и отмеченном синим кружком монастыре траппистов. Зачем я его обвел? На что надеялся? Отважусь ли я позвонить в дверь того дома, куда они помещают приезжих? Возможно, у них есть ответ на мой вопрос и на вопрос того, кто живет во мне...

Я вышел из церкви следом за старухой. Мне вдруг захотелось узнать, не больна ли она, или недавно овдовела, а может быть, у нее умирает сын, и принесла ли ей молитва надежду, но когда я боязливо подошел к ней — она все еще что-то бормотала, — старуха заключила по моему неуверенному виду, что я турист и хочу дать ей милостыню; оглянувшись по сторонам, она протянула ладонь, и, презирая сам себя за скупость, я вложил в нее двести франков, а затем поспешил оставить ее, освободившись от чар.

Дождь перестал. Небо перечеркивали красные ленты, блестели мокрые мостовые. Ехали на велосипедах люди — возвращались с работы. Темный дым из фабричных труб промышленного района казался черным и мрачным на фоне умытого неба.

Оставив позади магазины и бульвары, я шел под хмурыми взглядами высоких серых домов и фабричных стен по улицам, которые, казалось, никуда не вели, заканчиваясь тупиком или образуя кольцо. Было ясно, что я сбился с пути. Я понимал, что веду себя глупо: надо было найти свою машину и снять на ночь номер в одном из отелей в центре города или покинуть Ле-Ман и поехать через Мор-

¹ Дорожная карта (*фр.*).

тань в монастырь траппистов. Но тут я увидел перед собой железнодорожный вокзал и вспомнил, что собор, возле которого стоит моя машина, находится на противоположном конце города. Самым естественным было взять такси и вернуться, но прежде всего надо было выпить чего-нибудь в станционном буфете и прийти к какому-то решению. Я стал переходить улицу; чья-то машина резко свернула в сторону, чтобы не наехать на меня, затем остановилась. Водитель высунулся в окно и закричал по-французски:

— Привет, Жан! Когда вы вернулись?

Меня зовут Джон. Это меня подвело. Я подумал, что человека этого я, вероятно, где-то встречал и должен бы помнить. Поэтому я ответил, тоже по-французски, ломая голову, кто бы это мог быть:

— Я здесь проездом... сегодня вечером еду дальше.

— Зряшная поездка, да? — спросил он. — А дома небось скажете, что добились успеха?

Замечание было оскорбительным. Почему это он решил, что я зря провел отпуск? И как, ради всего святого, он догадался о моем затаенном чувстве, будто я потерпел фиаско?

И тут я понял, что человек этот мне незнаком. Я никогда в жизни не сталкивался с ним. Я вежливо ему поклонился и попросил извинить меня.

— Прошу прощения, — сказал я, — боюсь, мы оба ошиблись.

К моему удивлению, он расхохотался, выразительно подмигнул и сказал:

— Ладно, ладно, я вас не видел. Но зачем заниматься здесь тем, что куда лучше делать в Париже? Расскажите мне при следующей встрече в воскресенье.

Он включил зажигание и, не переставая смеяться, поехал дальше.

Когда он исчез из виду, я повернулся и вошел в станционный буфет. Скорей всего, он выпил и был в веселом настроении; не мне его осуждать, я и сам последую сейчас его примеру. Буфет был полон. Только что прибывшие пассажиры сидели бок о бок с теми, кто ожидал посадки. Стоял сплошной гул. Я с трудом пробрался к стойке. Чей-то чемодан поцарапал мне ногу. Раздавались свистки, оглушающий рев приближающегося экспресса заглушил пыхтение местного паровичка, лаяли привокзальные собаки, плакал ребенок. Я с вожделением думал о своей машине, стоявшей у собора, о том, как буду сидеть там в тишине с дорожной картой на коленях и курить сигарету.

Кто-то задел мой локоть в то время, как я пил, и сказал:

— Je vous demande pardon¹.

Я отодвинулся, чтобы ему было свободней, он обернулся, взглянул на меня, и, глядя в ответ на него, я осознал с изумлением, страхом и странной гадливостью, которые слились воедино, что его лицо и голос были мне прекрасно знакомы.

Я смотрел на самого себя.

ГЛАВА 2

Мы оба молчали, продолжая пристально смотреть друг на друга. Я слышал, что такое бывает: люди случайно встречаются и оказываются родственниками, давно потерявшими друг друга, или

¹ Прошу прощения (*фр.*).

близнецами, которых разлучили при рождении; это может вызвать смех, а может преисполнить печали, как мысль о Человеке в железной маске.

Но сейчас мне не было ни смешно, ни грустно — у меня засосало под ложечкой. Наше сходство вызвало в памяти те случаи, когда я неожиданно встречался в витрине магазина со своим отражением и оно казалось нелепой карикатурой на то, каким в своем тщеславии я видел сам себя. Это задевало, отрезвляло меня, обливало холодной водой мое эго, но у меня никогда при этом не ползали, как сейчас, по спине мурашки, не возникало желания повернуться и убежать.

Первым нарушил молчание мой двойник:

— Вы, случаем, не дьявол?

— Могу спросить вас о том же, — ответил я.

— Минутку...

Он взял меня за руку и подтолкнул ближе к стойке; хотя зеркало позади нее запотело и местами его заслоняли бутылки и стаканы и надо было искать себя среди множества других голов, на его поверхности ясно были видны наши отражения — мы стояли неестественно вытянувшись, затаив дыхание, и со страхом всматривались в стекло, словно от того, что оно скажет, зависит сама наша жизнь. И в ответ видели не случайное внешнее сходство, которое тут же исчезнет из-за разного цвета глаз или волос, различия черт, выражения лица, роста или ширины плеч; нет, казалось, перед нами стоит один человек.

Он заговорил — и даже интонации его были моими:

— Я поставил себе за правило ничему не удивляться; нет причин делать из него исключения. Что будете пить?

Мне было все равно, на меня нашел столбняк. Он заказал две порции коньяка. Не стовариваясь, мы подвинулись к дальнему концу стойки, где зеркало было не таким мутным, а толпа пассажиров не такой густой.

Словно актеры, изучающие свой грим, мы переводили глаза то на зеркало, то друг на друга. Он улыбнулся, я тоже, он нахмурился, я скопировал его, вернее, самого себя, он поправил галстук, я поправил галстук, и мы оба опрокинули в рот рюмки, чтобы посмотреть, как мы выглядим, когда пьем.

— Вы богатый человек? — спросил он.

— Нет, — сказал я. — А что?

— Мы могли бы разыграть номер в цирке или сколотить мильон в кабаре. Если ваш поезд еще не скоро, давайте выпьем еще.

Он повторил заказ. Никто не удивлялся нашему сходству.

— Все думают, что вы мой близнец и приехали на станцию меня встретить, — сказал он. — Возможно, так и есть. Откуда вы?

— Из Лондона, — сказал я.

— Что у вас там? Дела?

— Нет, я там живу. И работаю.

— Я спрашиваю: где вы родились? В какой части Франции?

Только тут я догадался, что он принял меня за своего соотечественника.

— Я англичанин, — сказал я, — так вышло, что я серьезно изучал ваш язык.

Он поднял брови.

— Примите мои поздравления, — сказал он, — я бы ни за что не подумал, что вы иностранец. Что вы делаете в Ле-Мане?

Я объяснил ему, что у меня сейчас последние дни отпуска, и коротко описал свое путешествие. Я сказал, что я историк и читаю в Англии лекции о его стране и ее прошлом.

Казалось, это его позабавило.

— И таким способом зарабатываете на жизнь?

— Да.

— Невероятно, — сказал он, протягивая мне сигарету.

— Но здесь у вас есть немало историков, которые делают то же самое, — запротестовал я. — По правде говоря, в вашей стране к образованию относятся куда серьезней, чем в Англии. Во Франции есть сотни преподавателей, читающих лекции по истории.

— Естественно, — сказал он, — но все они французы, и говорят они о своей родине. Они не пересекают Ла-Манш, чтобы провести отпуск в Англии, а затем вернуться сюда и читать о ней лекции. Я не понимаю, чем вас так заинтересовала наша страна. Вам хорошо платят?

— Не особенно.

— Вы женаты?

— Нет, у меня нет семьи. Я живу один.

— Счастливчик! — воскликнул он и поднял рюмку. — За вашу свободу, — сказал он. — Да не будет ей конца!

— А вы? — спросил я.

— Я? — сказал он. — О, меня вполне можно назвать семейным человеком. Весьма, весьма семейным, говоря по правде. Меня поймали давным-давно. И должен признаться, вырваться мне не удалось ни разу. Разве что во время войны.

— Вы бизнесмен? — спросил я.

— Владею кое-каким имуществом. Живу в тридцати километрах отсюда. Вы бывали в Сарте?

— Я лучше знаю страну к югу от Луары. Мне бы хотелось познакомиться с Сартром, но я направляюсь на север. Придется отложить до другого раза.

— Жаль. Было бы забавно... — Он не кончил фразы и вперился в свою рюмку. — У вас есть машина?

— Да, я оставил ее возле собора. Я заблудился, пока бродил по городу. Вот почему я здесь.

— Останетесь ночевать в Ле-Мане?

— Еще не решил. Не собирался. По правде сказать... — Я приостановился. От коньяка у меня в груди было тепло и приятно, да и какая важность — откроюсь я перед ним или нет, ведь я говорю сам с собой... — По правде сказать, я думал провести несколько дней в монастыре траппистов.

— Монастыре траппистов? — повторил он. — Вы имеете в виду цистерцианский монастырь неподалеку от Мортаня?

— Да, — сказал я. — Километров восемьдесят отсюда, не больше.

— Боже милостивый, зачем?

Он попал в самую точку. За тем же, за чем туда стремятся все остальные, — за милостью Божией. Во всяком случае, так я полагал.

— Я подумал, если я поживу там немного перед тем, как вернусь в Англию, — сказал я, — это даст мне мужество жить дальше.

Он внимательно смотрел на меня, потягивая коньяк.

— Что вас тревожит? — спросил он. — Женщина?

— Нет, — сказал я.

— Деньги?

- Нет.
- Попали в передрагу?
- Нет.
- У вас рак?
- Нет.

Он пожал плечами.

— Может быть, вы алкоголик, — сказал он, — или гомосексуалист? Или любите огорчения ради них самих? Плохи, должно быть, ваши дела, если вы хотите ехать к траппистам.

Я снова взглянул в зеркало поверх его головы. Сейчас впервые я заметил разницу между нами. Отличала нас не одежда — его темный дорожный костюм и мой твидовый пиджак, а непринужденность, с которой он держался, — ничего общего с моей скованностью. Я никогда так не смотрел, не говорил, не улыбался, как он.

— Дела мои в порядке, — сказал я, — просто я как личность потерпел в жизни фиаско.

— Как и все остальные, — сказал он, — вы, я, все эти люди здесь, в буфете. Все мы до одного потерпели фиаско. Секрет в том, чтобы осознать этот факт как можно раньше и примириться с ним. Тогда это больше не имеет значения.

— Имеет, и еще какое, — сказал я, — и я не примирился.

Он прикончил коньяк и взглянул на стенные часы.

— Вам вовсе не обязательно, — заметил он, — немедленно отправляться в монастырь. Перед добрыми монахами вечность, что им стоит подождать вас каких-то несколько часов. Давайте переберемся туда, где сможем пить с бóльшим удобством, а может быть, и пообедаем; будучи семейным человеком, я не стремлюсь домой.

Только теперь я вспомнил о незнакомце в машине, который окликнул меня на улице.

— Вас зовут Жан? — спросил я.

— Да, — сказал он. — Жан де Ге. А что?

— Кто-то принял меня за вас, тут, у вокзала. Какой-то субъект в машине окликнул меня. «Привет, Жан!» — крикнул он, а когда я сказал, что он ошибся, это, похоже, позабавило его: он подумал, что я — вернее, вы — не хочу, чтобы меня узнали.

— Ничего удивительного. Что вы сделали?

— Ничего. Он со смехом отъехал и крикнул, что мы увидимся в воскресенье.

— О да. *La chasse...*¹

Мои слова, видимо, направили его мысли в новое русло, так как выражение его лица изменилось — хотел бы я узнать, что у него на уме, — голубые глаза подернулись непроницаемой пеленой, и я спросил себя: я тоже так выгляжу, когда какой-нибудь трудный вопрос всплывает из глубин моего сознания?

Он кивнул носильщику, терпеливо ожидающему с двумя чемоданами в руках за дверьми буфета.

— Вы сказали, что оставили машину у собора? — спросил он.

— Да.

— Тогда, если у вас найдется в ней место для моих чемоданов, мы можем вернуться туда и поехать куда-нибудь пообедать.

— Разумеется. Куда вам будет угодно.

Он расплатился с носильщиком, подозвал такси, и мы отъехали от вокзала. Это было похоже на странный сон. Как часто во сне я, тень, смотрел на само-

¹ Охота, травля (*фр.*).

го себя, участвующего в призрачных событиях этого сна. Сейчас все это происходило наяву, а я ощущал себя таким же бестелесным, таким же безвольным...

— И он ничего не заподозрил?

— Кто?

Я вздрогнул; его голос, как голос пробудившейся совести, напугал меня: мы оба молчали с тех пор, как сели в такси.

— Человек, который окликнул вас возле вокзала.

— О да, абсолютно ничего. Я теперь вспоминаю, что он знал о вашей поездке, — он сказал, что она, видимо, была безуспешной. Это вам о чем-нибудь говорит?

— Еще как...

Я не стал развивать эту тему. Это меня не касалось. Я лишь взглянул на него украдкой — он так же украдкой смотрел на меня. Наши глаза встретились, но мы не улыбнулись друг другу, что было бы естественно для людей, связанных узами сродства, и я вновь почувствовал озноб, точно меня подстерегала опасность. Я отвернулся от него и стал смотреть в окно. В то время как такси завернуло за угол и остановилось у собора, раздался низкий, торжественный благовест ко всенощной. Этот неожиданный зов всегда глубоко меня трогал, задевал в моем сердце какие-то неведомые струны. Сегодня в громком, неудержимом звоне колоколов было предостережение. Мы вышли из такси. Медный лязг стал тише, перешел в глухой рокот, рокот — во вздохи, вздохи укоризны. В двери собора зашли несколько человек. Я открыл багажник. Мой спутник ждал, с интересом рассматривая машину.

— «Форд-консул», — сказал он. — Какого выпуска?

— Он у меня два года. Прошел около пятнадцати тысяч километров.

— Вы им довольны?

— Очень. Но я мало на нем езжу. Только на уик-энды.

Пока я укладывал его чемоданы, он жадно расспрашивал меня о машине. Словно мальчишка, увидевший новую марку, он трогал переключатель скоростей, похлопывал по сиденьям, чтобы проверить пружины, касался пальцами коробки передач и указателя скорости и наконец, в полном восторге от машины, спросил, нельзя ли ему ее повести.

— Разумеется, можно, — сказал я, — вы знаете город лучше меня. Действуйте.

Он с уверенным видом сел за руль, я забрался на сиденье рядом. Отъезжая от собора и поворачивая на улицу Вольтера, он продолжал восторженно шептать: «Великолепно. Чудесно»; видно было, что он наслаждается каждой секундой езды, вернее, бешеной гонки, — сам я езжу весьма осторожно. Мы проскочили перекресток при красном свете, чуть не сбили с ног старика, прижали к обочине огромный «бьюик», к ярости сидевшего за рулем американца, и продолжали кружить по городу, чтобы, как объяснил мой спутник, проверить скорость моего «форда».

— Вы не представляете, — сказал он, — как забавно пользоваться чужими вещами. Это одно из самых больших моих удовольствий.

Я зажмурил глаза: мы огибали угол так, словно участвовали в авторалли.

— Но, быть может, — продолжал он, — вы уже умираете с голоду?

— Ну что вы, — пробормотал я. — Я в вашем распоряжении.

И тут же подумал, что французский слишком деликатный, слишком вежливый.

— Я хотел было отвезти вас в единственный ресторан, где можно прилично пообедать, — сказал он, — но передумал. Меня там знают, а я по некоторым соображениям предпочел бы остаться инкогнито. Не каждый день встречаешь самого себя.

Его слова вновь пробудили во мне то чувство неловкости, которое я испытал в такси. Ни один из нас не желал выставлять напоказ наше сходство. Я внезапно осознал, что не хочу быть увиденным с ним рядом. Не хочу, чтобы официанты пялили на нас глаза. Мне почему-то было стыдно, словно я делал что-то украдкой. Непривычное для меня чувство. Мы подъезжали к центру города, и он снизил скорость.

— Пожалуй, — сказал он, — я не вернусь сегодня домой, а заночую в отеле.

Казалось, что он думает вслух. Вряд ли он ждал от меня ответа.

— В конце концов, — продолжал он, — когда мы кончим обедать, будет слишком поздно звонить Гастону, чтобы он привел машину. Да они и не ждут меня.

Я сам придумывал такие же предлоги, чтобы отодвинуть встречу с чем-нибудь неприятным. Интересно, почему его не тянет домой?

— А вы, — сказал он, поворачиваясь ко мне в то время, как мы ждали у светофора, — может быть, вы все же передумаете и не поедете в монастырь? Вы тоже могли бы остановиться на ночь в отеле.

Голос его звучал странно. Казалось, он нащупывает путь к какой-то договоренности между нами,

к какому-то решению проблемы, не вполне ясной для нас самих, и, когда он посмотрел на меня, взгляд его был испытующим и в то же время уклончивым, словно он что-то скрывал.

— Возможно, — ответил я. — Не знаю.

Перестав восторгаться машиной, погрузившись в себя, он пересек центр города, не останавливаясь у больших отелей, которые я заметил днем. Наконец мы оказались в районе серых, однообразных домов, фабрик и складов. На убогих улицах то и дело попадались дешевые пансионы, сомнительные меблированные комнаты, отели, где не спрашивали паспорта и не задавали вопросов, если вы хотели провести там ночь или час.

— Здесь спокойней, — проговорил он, и я, как и прежде, не мог сказать, обращается ли он ко мне или думает вслух.

Но мне не очень-то понравился его выбор, когда мой спутник остановил машину перед облупленным домом, втиснутым между двумя другими, такими же грязно-коричневыми, как и он, над полуоткрытой дверью которого виднелась надпись из тусклых синих электрических лампочек: «Hotel. Tout confort»¹, предупреждая о том, что это за заведение.

— Иногда, — сказал он, — эти места полезны. Не всегда хочешь встретить знакомых.

Я ничего не ответил. Он выключил мотор и распахнул дверцу.

— Зайдете? — спросил он.

У меня не было никакого желания проникать в тайны удобств, о которых объявлялось более мел-

¹ Все удобства (фр.).

кими буквами под синей вывеской, но я вылез из машины и вытащил из багажника его чемоданы.

— Пожалуй, нет, — сказал я. — Вы зайдите, договоритесь о номере, если хотите. Я предпочитаю сперва пообедать, а уж потом решать, что делать дальше.

Меня больше прельщал мой маршрут на север: сперва в Мортань, затем по грунтовой дороге в монастырь траппистов.

— Ваше дело, — сказал он, пожав плечами, и, толкнув дверь, вошел внутрь.

Я закурил. На меня начал действовать коньяк, выпитый в буфете. Все происходящее казалось нереальным, в голове затуманилось, и я смятенно спрашивал себя, что я делаю здесь, на грязной боковой улочке Ле-Мана, зачем жду человека, который еще час назад был мне незнаком, который все еще оставался чужим, но при этом благодаря нашему случайному сходству распоряжается моим вечером, направляет его ход, кто знает, во благо или во зло. Я подумал, не сесть ли мне потихоньку в машину и уехать и тем зачеркнуть эту встречу; занимательная сперва, она стала теперь казаться мне угрожающей, даже зловещей. Я уже было протянул руку, чтобы включить зажигание, как он вернулся.

— Все улажено, — сказал он. — Пошли поедим. Машина нам ни к чему. Я знаю хорошее местечко тут, на соседней улице, за углом.

Я не смог найти предлога избавиться от него и, презирая себя за слабость, тенью повлекся следом за ним.

Он привел меня в нечто среднее между рестораном и бистро. Вход был загроможден велосипедами — должно быть, там собирался клуб велосипедистов; внутри было полно подростков в ярких

шерстяных фуфайках, они горланили и пели, а за столом кучка пожилых рабочих играла в кости. Мой спутник уверенно проложил нам путь сквозь шумную толпу, и мы сели за столик позади потрепанной ширмы; пронзительные голоса мальчишек наполовину заглушались хриплым радио.

Хозяин, он же официант и бармен, всунул мне в руки неудобочитаемое меню, и в тот же миг передо мной оказались стакан вина и тарелка супа, которых я не заказывал. Потолок слился с полом, время потеряло значение, но вот мой спутник наклонился ко мне через стол и поднял стакан со словами:

— За вашу поездку к траппистам.

Иногда четвертый бокал может временно рассеять туман, который образовался в голове после трех предыдущих, и, пока я ел и пил, лицо моего визави снова стало четким, в нем не было больше ничего таинственного, ничего пугающего, оно казалось ласковым и привычным, как собственное мое отражение, оно улыбалось, когда я улыбался, хмурилось, когда я хмурился; голос его — эхо моего голоса — вызывал меня на разговор, подталкивал к признаниям. И вот уже, сам не знаю как, я заговорил о своем одиночестве, о смерти, о пустоте моего внутреннего мира, о том, как трудно мне выйти из своей скорлупы, о неуверенности в себе, своей нерешительности, своих сомнениях, своей апатии...

— А там, в монастыре, — услышал я свой голос, — где монахи живут в безмолвии, у них должен быть на все это ответ, они должны знать, как заполнить вакуум, ведь они погрузились во мрак, чтобы достичь света, а я...

Я приостановился, стараясь точнее сформулировать свою мысль, — ведь то, что я хотел сказать ему, было жизненно важно для нас обоих.

— Другими словами, — продолжал я, — в монастыре, возможно, и не дадут мне ответа, но укажут, где надо его искать; хотя у каждого из нас свои проблемы и решение их тоже у каждого свое, как у каждого замка свой ключ, не объемлет ли их ответ все вопросы — точно так, как отмычка открывает все замки?

Его дерзкие голубые глаза были совершенно трезвы, в них отражалась та насмешка над собой, тот скепсис, которые бывали в моих на следующее утро после попойки. Мои признания явно забавляли его.

— Нет, мой друг, — сказал он. — Если бы вы знали о религии столько же, сколько я, вы бы убежали от нее, как от чумы. У меня есть сестра, которая ни о чем другом не думает. Жизнь научила меня одному: единственное, что движет людьми, это алчность. Мужчины, женщины, дети — для всех алчность первейший жизненный стимул. Хвалиться тут нечем, да что из того? Главное — утолить эту алчность, дать людям то, чего они хотят. Беда в том, что они никогда не бывают довольны.

Он вздохнул и налил себе еще вина.

— Вы жалуетесь, что ваша жизнь пуста, — сказал он. — Мне она кажется раем. Хозяин в собственной квартире, никаких семейных пут, никаких деловых обязательств, весь Лондон к вашим услугам, если вздумается поразвлечься, хотя лично мне он не показался веселым, когда я был выслан туда во время войны, — но, так или иначе, в большом городе ты всегда свободен. Он не душит тебя, как веревка на шее.

Голос его изменился, стал жестким, глаза гневно сверкали — впервые он показал, что и у него есть

проблемы, которым он не хочет смотреть в лицо; он перегнулся ко мне через стол и сказал:

— Вы самый счастливый человек на свете — и вы недовольны. Вы говорили, что ваши родители умерли много лет назад, что нет никого, кто бы предъявлял на вас права. Вы абсолютно свободны, вы можете один вставать по утрам, один есть, один работать, один ложиться в постель. Поблагодарите судьбу и забудьте все эти глупости насчет траппистов.

Как все одинокие люди, я делался излишне словоохотливым, если ко мне проявляли симпатию и интерес. Я показал ему все тусклые уголки своего существования, о нем же не знал ничего.

— Ну что ж, — сказал я, — теперь ваша очередь исповедаться. В чем ваша беда?

На миг мне показалось, что он хочет ответить, что-то промелькнуло в его глазах — колебание, раздумье, — но тут же снова исчезло... он снисходительно улыбнулся, лениво пожал плечами.

— Моя? — сказал он. — Моя беда в том, что я слишком многим владею. Вернее, слишком многими. — И, закурив сигарету, он резко махнул рукой, предостерегая меня от дальнейших расспросов.

Я, если хотел, мог заниматься самим собой, мог исследовать свое дурное настроение, но к нему в душу вход был запрещен. Мы покончили с обедом, но не встали, а продолжали курить и пить. То и дело, заглушая хрипкое пение по радио, до нас долетали болтовня и смех мальчишек-велосипедистов, скрип стульев и споры рабочих, играющих в кости.

Я молчал, нам больше не о чем было говорить. Все это время он не сводил с меня глаз, вызывая во мне странное чувство неловкости. Когда он сказал,

что ему надо позвонить домой, встал и вышел из-за стола, мое напряжение ослабло, стало легче дышать. Но вот он вернулся, и я спросил: «Ну что?» — скорее из вежливости, чем из интереса, и он коротко ответил: «Я велел прислать за мной машину. Завтра». Позвав хозяина, он уплатил по счету, не обращая внимания на мои слабые протесты, а затем, подхватив меня под руку, протиснулся между поющими велосипедистами, и мы вышли на улицу.

Было темно, опять шел дождь. Улица казалась пустой. Нет ничего более унылого, чем окраина провинциального города в пасмурный вечер, и я пробормотал что-то насчет машины и отъезда и как замечательно было с ним повстречаться — настоящее приключение, но он, продолжая держать меня под руку, сказал:

— Нет, я не могу вас так отпустить. Слишком это необычно, слишком неправдоподобно.

Мы снова были у входа в его жалкий, тускло освещенный отель, и, заглянув в по-прежнему открытую дверь, я увидел, что за конторкой портье никого нет. Он тоже это заметил и, оглянувшись через плечо, сказал:

— Поднимемся ко мне. Выпьем еще по рюмочке, прежде чем вы уедете.

Голос его звучал настойчиво, он подгонял меня, словно нам нельзя было терять время. Я запротестовал, но он чуть не силой повел меня вверх по лестнице, затем по коридору к дверям номера. Вытащил из кармана ключ, открыл дверь и зажег свет. Мы были в небольшой убогой комнатке. «Присаживайтесь, — сказал он, — будьте как дома», и я сел на кровать, так как единственный стул был занят открытым чемоданом. Он уже вынул из него пижа-

му, головные щетки и домашние туфли и теперь, достав фляжку, наливал коньяк в стаканчик для полоскания рта. И снова, как это было в бистро, потолок опустился на пол и все происходящее стало казаться мне неизбежным, неотвратимым, я никогда не расстанусь с ним, а он со мной, он спустится следом по лестнице, сядет рядом в машину, никогда я не освобожусь от него. Он моя тень, или я его тень, и мы прикованы друг к другу навеки.

— Что с вами? Вам плохо? — спросил он, заглядывая мне в глаза.

Я встал, раздираемый двумя желаниями: одно — открыть дверь и спуститься вниз, другое — снова встать рядом с ним перед зеркалом, как мы стояли в станционном буфете. Я знал, что первое желание разумно, а второе чревато бедой, и все же я должен был это сделать, должен был вновь испытать то, что уже раз испытал. Вероятно, он догадался об этом, потому что мы повернули головы в один и тот же миг и уставились на свои отражения. Здесь, в небольшой тихой комнате, наше сходство казалось еще более противоестественным, более жутким, чем в переполненном шумном буфете, где звучали голоса людей и плавали клубы дыма, или в бистро, где я думал совсем о другом. Эта жалкая комната с темными обоями и скрипучим полом напоминала склеп; мы находились здесь вдвоем, отгороженные от всего мира, побег был невозможен. Он сунул стаканчик с коньяком в мои дрожащие пальцы, сам глотнул из горлышка, а затем сказал таким же нетвердым голосом, как у меня, а возможно, говорил я сам, а он слушал:

— Давайте поменяемся одеждой.

Я помню, что один из нас расхохотался в то время, как я грохнулся на пол.

ГЛАВА 3

Кто-то стучал в дверь, пробиваясь сквозь мрак в сознание; казалось, это никогда не прекратится; наконец я поднялся из бездонных глубин сна и крикнул: «Entrez!»¹, изумленно осматривая чужую комнату, которая постепенно становилась реальной, приобретала знакомые черты.

Держа в руках фуражку, в дверь вошел невысокий, приземистый мужчина в выцветшей старомодной форме шофера — куртка на пуговицах, бриджи и краги — и остановился на пороге. Его темно-карие глаза с сочувствием глядели на меня.

— Господин граф наконец проснулся? — сказал он.

Я, нахмурившись, посмотрел на него, затем снова окинул взглядом комнату: раскрытый чемодан на стуле, второй — на полу, через спинку в изножье кровати переброшено верхнее платье. На мне полосатая пижамная куртка, которую я видел в первый раз. На умывальнике — стаканчик и фляжка с остатками коньяка. Моей собственной одежды нигде не было видно, но я не помнил, чтобы я раздевался и убирал ее. В памяти сохранилось одно: как я стою перед зеркалом рядом с моим двойником.

— Кто вы? — спросил я шофера. — Что вам надо?

Он вздохнул, кинул понимающий взгляд на беспорядок, царивший в комнате.

— Господин граф хочет еще немного поспать? — спросил он.

— Господина графа здесь нет, — сказал я. — Он, должно быть, вышел. Который час?

¹ Войдите! (фр.)